

**UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES**

**UCLA  
SLAVIC  
STUDIES**

**NEW SERIES VOL. IV**

**Editorial Board**

**Henning ANDERSON  
Vyacheslav V. IVANOV  
Aleksandr L. OSPOVAT  
Ronald VROON**

**SPECULUM SLAVIAE ORIENTALIS**

**MUSCOVY, RUTHENIA  
AND LITHUANIA IN THE LATE  
MIDDLE AGES**

*Edited by*  
*Vyacheslav V. Ivanov*  
*Julia Verkholanitsev*

MOSCOW 2005

**SPECULUM SLAVIAE ORIENTALIS**

**МОСКОВИЯ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ РУСЬ  
И ЛИТВА В ПЕРИОД  
ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ**

*Под редакцией  
Вячеслава Всеволодовича Иванова  
Юлии Верхованцевой*

МОСКВА 2005

УДК 81'04  
ББК 81.2  
М82

**M82 Speculum Slaviae Orientalis: Muscovy, Ruthenia and Lithuania in the Late Middle Ages. — Moscow: Novoe izdatel'stvo, 2005. — 256 p. (UCLA Slavic Studies. New Series. Vol. IV)**

This collection of essays examines a number of issues in late medieval East Slavic cultural and intellectual history with particular focus on Muscovy and the Grand Duchy of Lithuania. Among the central topics of this book are the multilingual and multiconfessional cultural milieus in these lands, interaction between Muscovite and Ruthenian cultures, and contact between the Eastern Slavs and non-Slavic peoples residing within and outside their ethnic terrain. This book will be of special interest to cultural historians, philologists and linguists.

ISBN 5-98379-028-5

УДК 81'04  
ББК 81.2

ISBN 5-98379-028-5

© Vyacheslav Vs. Ivanov,  
Julia Verkholantsev, 2004

## Contents

Preface and Acknowledgements	7
GIOVANNA BROGI BERCOFF. Plurilinguism in Russia and in the Ruthenian Lands in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. The Case of Stefan Javors'kyj	9
ELENA BOUDOVSKAIA. Innovative Endings of Gpl A-Stems in Four Transcarpathian Villages	21
PIETRO U. DINI. Views on Languages and Polyglossia in the Grand Duchy of Lithuania according to Johannes Stobnica's <i>Epitoma Europe</i> (1512)	36
DAVID FRICK. The Councilor and the Baker's Wife: Ruthenians and Their Language in Seventeenth-Century Vilnius	44
АЛЕКСЕЙ ГИППИУС. Русское «некнижное» житие Николая Чудотворца в языковой ситуации Литовской и Московской Руси XV–XVII вв.	68
MIKHAIL GRONAS. <i>Strikusy</i> Re-Revisited: An Amendment to Jacobson's Reading of an Obscure Passage in <i>Slovo o Polku Igoreve</i>	84
ВЯЧЕСЛАВ ВС. ИВАНОВ. Языки, языковые семьи и языковые союзы внутри Великого княжества Литовского	93
GAIL LENHOFF. The Cult of Metropolitan Iona and the Conceptualization of Ecclesiastical Authority in Muscovy	122
ROBERT ROMANCHUK. The Reception of the Judaizer Corpus in Ruthenia and Muscovy: A Case Study of the <i>Logic</i> of Al-Ghazzali, the 'Cipher in Squares,' and the <i>Laodicean Epistle</i>	144
STANISLAV A. SHVABRIN. The Imagined Interlocutor in Kurbskii's <i>History of the Grand Prince of Moscow</i>	166

---

MOSHE TAUBE. The Fifteenth-Century Ruthenian Translations from Hebrew and the Heresy of the Judaizers: Is There a Connection?	185
ФЕДОР УСПЕНСКИЙ. Заметки о бытовании отчеств в домонгольской и Московской Руси	209
WILLIAM R. VEDER. Dead on Arrival: Why Church Slavic Would Not Be Reanimated	222
JULIA VERKHOLANTSEV. Renaissance Anecdotes? Caucasian Slavs and Slavic Caucasians in Sixteenth-Century Historiography and Linguistics	232
Subject Index	248

## Русское «некнижное» житие Николая Чудотворца в языковой ситуации Литовской и Московской Руси XV–XVII вв.

*Алексей Гиппиус*

В обозначившемся к концу XV в. размежевании языковых ситуаций Московской и Юго-Западной (Литовской) Руси активная роль принадлежала, как известно, последней. Согласно Б. А. Успенскому (1994, 64–82; 1987/2002, 387–388), Московская Русь сохраняет в эту эпоху исходную для всей восточнославянской территории ситуацию диглоссии, тогда как в Юго-Западной Руси эта ситуация преобразуется в ситуацию двуязычия<sup>1</sup>. Монополия церковнославянского в качестве культового и литературного языка нарушается в Литовской Руси появлением у него конкурента в виде «простой» или «русской мовы».

С точки зрения функциональной типологии языков (почему-то устойчиво игнорируемой славянской диахронической социолингвистикой) «проста мова» противопоставит церковнославянскому как язык *стандартного* типа языку *классическому*. Конкуренция этих идиомов в Литовской Руси XVI–XVII вв. (наиболее ярко проявляющаяся в существовании параллельных текстов на двух языках) оттеняет отсутствие таковой не только в синхронной языковой ситуации Московской Руси, но и в исходной древнерусской языковой ситуации. Смешение генетически разнородных языковых компонентов в литературной продукции Киевской Руси иногда ошибочно трактуется как явление конкуренции языков. В действительности оно — лишь факт неизбежного в условиях *гомогенной* языковой ситуации взаимодействия книжного (классического) языка с местной языковой средой. Возникающий в результате этого взаимодействия континуум языковых регистров (совсем не отменяющий, впрочем, основного противопоставления книжного и некнижного «языков») имеет лишь один литературно-языковой «горизонт» в виде основного корпуса канонических

---

<sup>1</sup> Настоящая статья основана на тексте дипломной работы, защищенной на кафедре русского языка филологического факультета МГУ в 1985 г. и написанной под научным руководством Б. А. Успенского, которому автор выражает сердечную признательность.

текстов. Древнерусский книжник мог писать с разной степенью оглядки на этот горизонт, но он никогда сознательно от него не отворачивался, не ставил себе цели писать на *другом*, не-церковнославянском языке. В конкурентной ситуации, какой с конца XV в. становится языковая ситуация Литовской Руси, этот другой литературный язык реально присутствует в лингвистическом сознании как альтернатива классическому языку.

Поляризованность литературно-языкового пространства Литовской Руси нагляднее всего выражается в семантическом противопоставлении определений «рус(с)кий» и «славянский», закреплении их соответственно за новым «простым» и традиционным церковнославянским языком. В Московской Руси эти понятия продолжают рассматриваться как синонимы — знаменитый тезис Нестора «а словенский язык и русский одно есть» остается здесь в силе. Что же касается «просторечия», выделяемого как категория литературного языка и в Московской Руси, то оно здесь также не составляет противоположности церковнославянскому языку, но находит себе место в его пределах как наиболее элементарная разновидность книжного языка. «Простота» языка оказывается при таком ее понимании не идеей, преобразующей языковую ситуацию, а лишь свойством определенной части книжной продукции, стабильно занимающей в общей системе литературных текстов периферийное положение (см.: Успенский 1987/2002, 370–377).

Не менее характерны и различия в направленности языковых изменений, которые могут претерпевать в этих ситуациях конкретные литературные тексты. В Литовской Руси тексты на «простом» языке, заметную часть которых составляют переложения с церковнославянского, открыты для разнонаправленного языкового редактирования. Они могут подвергаться дальнейшей натурализации, еще более сближаясь с местным разговорным субстратом, полонизации и славянизации — в последнем случае вторично испытывая на себе воздействие церковнославянского языкового полюса. Схематизируя, можно сказать, что в литературно-языковом пространстве Литовской Руси тексты на «простом» языке способны смещаться «вниз» (натурализация), «вбок» (полонизация) и «вверх» (славянизация).

В моноцентричной языковой среде Московской Руси из этих трех направлений языкового редактирования для «просто» написанного книжного текста открыта одна дорога — «наверх». Принадлежа книжной культуре и при этом обнаруживая лишь минимум лингвистических «признаков книжности», такой текст становится закономерным объектом окнижняющей, славянизирующей правки. Характер и масштабы ее могут варьировать в широких пределах — от косметических изменений, вносимых в текст при обычной переписке, до глубокой языковой и стилистической редактур в случаях, когда «периферийный» по своему происхождению текст оказывается востребован официальной столичной книжностью (ср. обработку более ранних летописных материалов в Степенной книге или же перво-



начальных редакций житий русских святых Пахомием Логофетом и, позже, спращиками макарьевских Четьих миней).

Своеобразие памятника, которому посвящена настоящая работа, состоит в том, что он, в равной степени принадлежа книжным традициям Литовской и Московской Руси, в обоих этих регионах стал полем реализации характерных для них тенденций в области литературного языка, отразив таким образом в своей истории очерченную выше проблематику в целом.

В 1871 г. В. О. Ключевский в приложении к своей диссертации «Древнерусские жития святых как исторический источник» впервые опубликовал текст, ставший известным как «русское некнижное житие Николая Чудотворца» (далее — НЖН). Почти ни в чем не сходный с двумя другими житиями св. Николая Мирликийского (написанным Метафрастом и так называемым «иным житием») памятник содержит рассказ о странствиях св. Николая в Египте, Палестине, Сирии, поставлении его архиепископом Мир Ликийских, чуде на Никейском соборе, смерти и погребении святого. Текст завершается прославлением св. Николая, который, хотя и покоится в «латинских землях», совершает свои чудеса «в нас в Руси». Обращаясь к «русским сынам и дщерям», автор призывает их молиться Богу через святого Николая, «чтобы на грѣшныѣх православныѣх хрѣтіанѣх избави<sup>а</sup> шного закона и шного поганыѣх насилїа, и шсти цркви хрѣтіаньскїа и оцтверди их непорѣшны до скончанїа вѣка» (Ключевский 1871, 454).

Опубликованный им текст Ключевский охарактеризовал как «одно из курьезнейших явлений в древнерусской письменности» (Там же, 218), безусловно имея в виду не только оригинальность содержания памятника (в котором исключительно силен демонологический элемент), но также и крайне необычный для русской агиографии «некнижный» язык, резко диссонирующий с тем литературным конвоем, в котором житие встречается на страницах великорусских четьих сборников XV–XVII вв.

В. О. Ключевским был указан и ближайший источник «некнижного жития». Им оказалась южнославянская (болгарская, по оценке Ключевского) «Повесть о погребении св. Николая». Впоследствии Хр. Лопарев (1892, 170) определил и греческий источник этого текста (сказание *Periodoi Nikolaou*; опубликовано: Ангич 1913, 312–332). Относительно языка НЖН В. О. Ключевский писал: «Язык в этом памятнике тот же самый, которым изложена разобранная выше редакция жития Михаила Клопского; русская повесть о св. Николае есть простое переложение церковнославянского сказания на этот язык» (Ключевский 1871, 220).

Действительно, в лингвистическом отношении указанная Ключевским редакция жития Михаила Клопского (ЖМК) составляет ближайший и единственной в великорусской агиографии этого времени аналог «некнижному» житию св. Николая. Однако предложенное Ключевским объяснение этого сходства принять невозможно. Дело в том, что редакция

ЖМК, которую Ключевский считал второй, в действительности является первой, основанной на черновых монастырских записках о жизни святого, чем и объясняется характер ее языка (см: Дмитриев 1958, 18–23). Переложения более книжного варианта «простым» языком в истории этого памятника не было, а имел место прямо противоположный процесс последовательного «окнижения» языка сначала во второй, а затем и в третьей редакции, созданной Василием Тучковым для макарьевских Великих Четких миней. Известно, что сходный путь развития прошло и житие Зосимы и Савватия Соловецких, первоначальная, «некнижная» редакция которого, написанная игуменом Досифеем, не сохранилась (см.: Дмитриева 1988). Литературная среда Московской Руси не поддерживала существование подобных «некнижных» редакций, при первой возможности заменяя их текстами, более отвечающими канонам житийного жанра; язык этих редакций никаким престижем не обладал, и перелагать на него «нормальный» церковнославянский текст было некому и незачем.

Важнейший шаг к разгадке происхождения НЖН был сделан А. С. Орловым, установившим в специальной работе об этом памятнике югозападнорусское происхождение текста. Ключевую роль в аргументации этого положения А. С. Орлов отводил обнаруженному им Типографскому списку жития XVIII в. (РГАДА, ф. 381, № 1530), явно югозападнорусскому и при этом в ряде случаев более близкому к тексту «Повести о погребении», чем список, опубликованный Ключевским (РГБ, Унд. 569). Вдобавок к этому Орлов указал на следы югозападнорусских протографов в московских списках жития, а также на факт соседства жития в ряде списков с текстами, заведомо происходящими из Юго-Западной Руси. Появление НЖН в Юго-Западной Руси исследователь предположительно отнес ко второй четверти XV в., связав его с антикатолической оппозицией периода великого княжения Витовта (предполагается, что «поганые» цитированного выше заключительного обращения — это католики).

В целом история текста НЖН виделась А. С. Орлову следующей: «Какой-нибудь православный житель области, где звучала югозападнорусская речь, написал веке в XV текст жития на литературном, хотя и простом языке центральной России, не вполне воздерживаясь от влияния черт областной своей речи. От этого текста пошел список, напечатанный В. О. Ключевским. <...> Типографский список XVIII в. представляет уже дальнейшую натурализацию и опрощение текста, <...> дальнейшее приближение к речи того края, лексика и говор которого еле заметны в списках XV–XVI вв., указанных В. О. Ключевским» (Орлов 1909, 348, 352).

В оценке языка, на который было сделано переложение, Орлов соглашается с Ключевским: для него это «литературный, хотя и простой язык центральной России». В другом месте исследователь пишет, прямо повторяя своего предшественника: «„Повесть о погребении“ была переложена на русский простой язык типа второй редакции жития Михаила Клопского

применительно к пониманию некнижного большинства» (Орлов 1909, 347). В работе, доказывающей югозападнорусское происхождение текста, парадоксальность этого утверждения особенно бросается в глаза. Непонятно, зачем было в Юго-Западной Руси, где практика переложения «простым языком» церковнославянских текстов «применительно к пониманию некнижного большинства» действительно существовала, ориентироваться на «простой язык» Московской Руси, в которой подобная практика отсутствовала. Это принципиальное различие между языковыми ситуациями Литовской и Московской Руси Орловым (как и Ключевским) явно не признавалось. Иначе трудно объяснить, почему им не был использован главный аргумент в пользу югозападнорусского происхождения НЖН: в рассматриваемую эпоху нигде, кроме как в Литовской Руси, подобное переложение церковнославянского текста было просто невозможно.

Итак, поиски оригинала «некнижного» жития уводят в Литовскую Русь. Поскольку древнейшие списки памятника относятся к рубежу XV—XVI вв., перевод «Повести о погребении» мог быть осуществлен здесь самое позднее в конце XV в. Оригинал «некнижной» редакции должен быть тем самым отнесен к числу самых первых проявлений нового литературного языка Юго-Западной Руси. Его возникновение обычно относится в литературе к началу XVI в. и связывается с распространением идей Реформации (см., например: Живов 1996, 52—53; Целунова 2000, 88); как первое свидетельство нового лингвистического мышления рассматриваются при этом библейские переводы Фр. Скорины. Однако переводы на «простой» язык Священного Писания, действительно отражающие воздействие реформационных процессов, знаменуют собой отнюдь не начало, но уже определенный этап перестройки языковой ситуации Литовской Руси. Первые же опыты писания на «простом» языке и соответственно столкновение традиционной восточнославянской книжности с идеей «простоты» языка как минимум на тридцать лет предшествуют переводам Скорины.

До начала XVI в. таких опытов известно несколько. Ближайшим предтечей переводческой деятельности Скорины являются сделанные также с чешского (или польского) языка переводы Жития Алексея человека Божия, Никодимова Евангелия и Повести о трех королях, дошедшие в списке рубежа XV—XVI в. и выполненные, по-видимому, в конце XV в. (см.: Владимирцов 1887, Флоровский 1947, 35—41). К тому же времени относится и исследованный В. Н. Перетцем (1929, 1—19) украинский список Измарагда, отдельные тексты которого ученый обоснованно считает переводами с церковнославянского на «простой» язык (в других случаях писец переписывал свой оригинал без изменений или же отклоняясь от него в сторону живого языка в отдельных словах и выражениях).

Старейшим и наиболее важным из памятников интересующего нас круга является рукопись, известная в литературе как «Четья 1489 г.». По оценке А. И. Соболевского, разделяемой также В. Н. Перетцем (1928, 2),

применительно к пониманию некнижного большинства» (Орлов 1909, 347). В работе, доказывающей югозападнорусское происхождение текста, парадоксальность этого утверждения особенно бросается в глаза. Непонятно, зачем было в Юго-Западной Руси, где практика переложения «простым языком» церковнославянских текстов «применительно к пониманию некнижного большинства» действительно существовала, ориентироваться на «простой язык» Московской Руси, в которой подобная практика отсутствовала. Это принципиальное различие между языковыми ситуациями Литовской и Московской Руси Орловым (как и Ключевским) явно не сознавалось. Иначе трудно объяснить, почему им не был использован главный аргумент в пользу югозападнорусского происхождения НЖН: в рассматриваемую эпоху нигде, кроме как в Литовской Руси, подобное переложение церковнославянского текста было просто невозможно.

Итак, поиски оригинала «некнижного» жития уводят в Литовскую Русь. Поскольку древнейшие списки памятника относятся к рубежу XV–XVI вв., перевод «Повести о погребении» мог быть осуществлен здесь самое позднее в конце XV в. Оригинал «некнижной» редакции должен быть тем самым отнесен к числу самых первых проявлений нового литературного языка Юго-Западной Руси. Его возникновение обычно относится в литературе к началу XVI в. и связывается с распространением идей Реформации (см., например: Живов 1996, 52–53; Целунова 2000, 88); как первое свидетельство нового лингвистического мышления рассматриваются при этом библейские переводы Фр. Скорины. Однако переводы на «простой» язык Священного Писания, действительно отражающие воздействие реформационных процессов, знаменуют собой отнюдь не начало, но уже определенный этап перестройки языковой ситуации Литовской Руси. Первые же опыты писания на «простом» языке и соответственно столкновение традиционной восточнославянской книжности с идеей «простоты» языка как минимум на тридцать лет предшествуют переводам Скорины.

До начала XVI в. таких опытов известно несколько. Ближайшим предтечей переводческой деятельности Скорины являются сделанные также с чешского (или польского) языка переводы Жития Алексея человека Божия, Никодимова Евангелия и Повести о трех королях, дошедшие в списке рубежа XV–XVI в. и выполненные, по-видимому, в конце XV в. (см.: Владимиров 1887, Флоровский 1947, 35–41). К тому же времени относится и исследованный В. Н. Перетцем (1929, 1–19) украинский список Измарагда, отдельные тексты которого ученый обоснованно считает переводами с церковнославянского на «простой» язык (в других случаях писец переписывал свой оригинал без изменений или же отклоняясь от него в сторону живого языка в отдельных словах и выражениях).

Старейшим и наиболее важным из памятников интересующего нас круга является рукопись, известная в литературе как «Четья 1489 г.». По оценке А. И. Соболевского, разделяемой также В. Н. Перетцем (1928, 2),

она представляет собой белорусский список с украинского (галицко-во-лынського) оригинала, чем объясняется смешение в языке этого памятника украинских и белорусских черт. Название условно: рукопись состоит из двух частей и «в первой половине напоминает Четью-Минею, частью же Торжественник, а во второй представляет комбинацию слов Златоуста и отчасти Измарагда» (Там же, 1). Составитель протографа Четьи 1489 г., по-видимому, сам произвел отбор текстов из доступных ему церковнославянских рукописей, переложив их «простым» языком — эта установка вполне последовательно проведена в обеих частях памятника. Как отмечает В. Н. Перетц (Там же, 12), со своими источниками переводчик обходился довольно свободно, сокращая их, а иногда и снабжая дополнениями.

Как и большинство его предшественников, В. Н. Перетц, посвятивший Четье 1489 г. обширную работу, рассматривал этот памятник в целом, не вдаваясь в историю отдельных составляющих его текстов; углубленный анализ содержания памятника не был осуществлен и в дальнейшем (хотя его постатейная роспись появилась еще в 1916 г. (Лебедев 1916, 161))<sup>2</sup>. От внимания исследователей ускользнул поэтому факт, примечательный для истории древнерусской литературы: на лл. 100–110 в рукописи находится «некнижное» житие св. Николая Мирликийского.

Три обстоятельства придают этому факту особое значение. Во-первых, список НЖН в Четье 1489 г. — древнейший из ныне известных списков этого памятника. Во-вторых, в отличие от других списков, в которых НЖН выглядит лингвистически чужеродным телом, здесь оно находится среди таких же, как оно само, текстов на «простом» языке. В-третьих, в значительном числе случаев, где список жития в Четье 1489 г. текстуально расходится с указанным В. О. Ключевским, он совпадает при этом с текстом «Повести о погребении», обнаруживая тем самым свою первичность<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Недостаток внимания к этому замечательному памятнику, по-видимому, отчасти обусловлен следующим обстоятельством. В послереволюционные годы рукопись, до этого хранившаяся в Церковно-археологическом музее Киевской Духовной академии, некоторое время считалась утраченной, но потом обнаружилась в Лаврском музее в Киеве, откуда была передана в ЦНБ УССР, где заняла свое законное место в фонде Церк.-арх. музея КДА (№ 415). За это время, однако, факт утраты рукописи успел отразиться в перечне памятников древнерусской письменности, данном Н. Н. Дурново в его «Введении в историю русского языка» (1927). В комментариях ко второму изданию книги (Дурново 1969, 81) эта информация не была исправлена, хотя работа В. Н. Перетца появилась уже после вторичного обнаружения рукописи. О том, что в настоящее время местонахождение Четьи 1489 г. неизвестно, сообщает и комментарий к опубликованной в 1980 г. «Истории русского литературного языка» А. И. Соболевского (Соболевский 1980, 171).

<sup>3</sup> Из этих случаев наиболее характерны два. В Четье 1489 г., как и в «Повести о погребении», отсутствует имя и титул патриарха, рукоположившего св. Николая в архиепископы Мирликийских. В списке, опубликованном Ключевским (РГБ, Унд. 569), и ему подобных, это — «патриарх иерусалимский Макарий». В эпизоде битвы в Кесарии Филипповой в Четье 1489 г. и «Повести о погребении» в ответ на молитву святого к нему с неба прихо-

Все это, на наш взгляд, позволяет с полной определенностью утверждать, что литературная обработка «Повести о погребении» была произведена в Литовской Руси не изолированно, но в рамках общей редакторской деятельности составителя протографа Четьи 1489 г. Уже отмеченная выше свобода обращения этого редактора со своими источниками проявляется и в нашем памятнике. Редактор не ограничился переводом своего основного источника, но интерполировал его вставкой рассказа о чуде св. Николая на Никейском соборе (отсутствующего во всех известных списках «Повести о погребении»), а также написал заключительную похвалу святому и обращение к «русским сыном и дочерем». Установленная А. С. Орловым антилатинская направленность этого обращения, возможно, проливает свет и на историко-культурные импульсы всего предприятия по созданию сборника агиографических и дидактических текстов на «простом» языке, позволяя связывать его не столько с реформационными веяниями, сколько с необходимостью более эффективного противостояния усиливающейся католической пропаганде на землях Великого княжества Литовского.

Точно определить время создания протографа Четьи 1489 г. и оригинала НЖН не удастся. Датировка памятника А. С. Орловым, относящим его ко времени княжения Витовта (1392–1430), представляется слишком ранней, так как предполагает слишком большой разрыв между НЖН и другими ранними югозападнорусскими текстами на «простом» языке Литовской Руси, относящимися к концу XV в. Вероятнее поэтому, что протограф Четьи 1489 г. появился незадолго до написания самой этой рукописи, в 70–80-х гг. XV в.

Появление этого сборника не прошло незамеченным, о чем свидетельствует как сам список 1489 г., так и дальнейшая судьба нашего памятника. Вскоре после его написания НЖН было извлечено из своего первоначального литературного контекста и получило хождение в составе четьих сборников, вступая в них в разные сочетания с другими агиографическими текстами о св. Николае. Вернувшийся таким образом в церковнославянскую книжность памятник быстро обогнал в популярности свой оригинал — «Повесть о погребении». Н. В. Пак насчитывает в общей сложности 25 списков «Повести» и 62 списка НЖН<sup>4</sup>. Кроме того, в виде отдельных

---

4 дит *голос*, тогда как в списках Ключевского — *голубь*. Случай этот вдвойне показателен, поскольку источником последнего чтения явно послужила полногласная форма *голось*, читаемая в Четье 1489 г., а не церковнославянский вариант *глась* «Повести о погребении». Предлагаемое Н. В. Пак (2000, 8) подразделение рукописной традиции НЖН на два варианта, представленных соответственно 42 и 19 списками, в принципе соответствует нашим наблюдениям, сделанным на материале списков, названных в перечне Н. К. Никольского (1906). Однако тот вариант, который исследовательница считает первым (его отличительный признак — упоминание имени иерусалимского патриарха Макария; этот вариант

фрагментов текст НЖН был использован Компилятивным житием св. Николая, которое, по убедительному предположению Н. В. Пак, было составлено около 1640–1641 г. в связи с подготовкой печатного издания (Пак 2001, 37)<sup>5</sup>. В Литовской Руси НЖН послужило одним из источников второй редакции югозападнорусского жития (Там же, 45–47).

Замечательной особенностью рукописной традиции НЖН является крайняя нестабильность его языкового облика. В восточнославянской книжности XV–XVIII вв. вряд ли возможно указать текст, списки которого столь же сильно различались бы по языку, как списки нашего памятника. Идентифицировав оригинал «некнижного» жития с протографом Четьи 1489 г., мы можем представить себе основные тенденции его языковой эволюции несколько иначе, чем это было сделано А. С. Орловым, хотя вывод исследователя о югозападнорусском происхождении текста нашей находкой полностью подтверждается

Прежде всего, список НЖН в Четье 1489 г. дает нам право утверждать, что языком переложения «Повести о погребении» был не мифический «простой язык центральной России», демонстрируемый списками типа опубликованного Ключевским, а значительно более близкий живой югозападнорусской речи литературный идиом, целиком принадлежащий языковой ситуации Литовской Руси. Тем самым автоматически изменяется и оценка языка великорусских списков: в реальной перспективе истории текста он должен рассматриваться как результат не упрощения, а, напротив, окнижнения, славянизации языка оригинала «некнижного» жития. Подмеченное Ключевским языковое сходство НЖН с первой редакцией жития Михаила Клопского оказывается, таким образом, вторичным, приобретенным нашим памятником в процессе его переписки московскими книжниками.

История языковых преобразований «Повести о погребении» на восточнославянской почве не исчерпывается, таким образом, переложением памятника на «простой» язык и его дальнейшей натурализацией в югозападнорусской языковой среде; наряду с этой тенденцией действовала и противоположная ей — к славянизации языка НЖН. Конкретная направленность языковых изменений, которым текст подвергался в том или

---

опубликован В. О. Ключевским по списку РГБ, Унд. 569 и М. С. Крутовой по списку РГБ, Унд. 563, оба списка XVI в.), является, на наш взгляд, более поздним. Об этом говорит как соотношение текстов с «Повестью о погребении», так и наличие «второго», по Н. В. Пак, варианта НЖН в Четье 1489 г. (оставшейся исследовательнице неизвестной).

<sup>5</sup> Совершенно иначе трактует соотношение текстов М. С. Крутова (1997, 5, 131–132), видящая в Компильтивной редакции «полную редакцию Метафрастова жития» и считающая ее одним из источников НЖН. Очевидна ошибочность этой точки зрения, игнорирующей как вторичность НЖН по отношению к «Повести о погребении», так и наличие у последней греческого оригинала. Отказ исследовательницы видеть в НЖК и «Повести о погребении» самостоятельный агиографический текст о св. Николае представляется, после работ В. О. Ключевского и А. С. Орлова, шагом назад в изучении этого памятника.

ином списке, зависела от того, был ли этот список московский или югозападнорусский, а также от индивидуальной языковой установки писца. При этом едва ли не каждый переписчик, в руки которого попадал текст НЖН, принимал на себя функции редактора, создавая собственный языковой «извод» этого необычного памятника.

Проиллюстрируем сказанное, рассмотрев несколько вариантов начала рассказа о чуде св. Николая в Апамее Сирийской. Ниже этот фрагмент приводится по тексту «Повести о погребении» (А) и семи спискам НЖН (а также использующим ее компилятивных памятников), из которых В, С, D, Е являются югозападнорусскими, а F, G, H — великорусскими:

А. РГБ, Унд. 567, XVI в.

В. ЦНБУ, ф. Церк.-арх. музея КДА, № 415 («Четья» 1489).

С. РНБ, Погод. 818, XVII в. (вторая редакция Югозападнорусского жития, по Н. В. Пак).

D. РГАДА, ф. 381, № 1530, нач. XVIII в. («Типографский» список, исследованный А. С. Орловым).

Е. ЛНБ, ф. 77, собр. А. С. Петрушевича, нач. XVIII в.

F. РГБ, Унд. 1042, XVI в.

G. РГБ, Унд. 563, XVI в.

H. РГБ, Ег., 191, XVII в. («Компилятивное» житие, по Н. В. Пак).

А: И проше<sup>а</sup> Арменію идаше въ Апаміа Сирьскѣ ѿ, и баше тамо цркъвѣ въ  
има Муханла архистратига, и сѣдаше в неѣ днѣи .р. и никто<sup>ж</sup> ѹзнаѣ е<sup>ѣ</sup>. Въ  
единѣ же ѿ днѣи не<sup>а</sup>ли сѣци внидоша вси лю<sup>а</sup>е помолити<sup>ѣ</sup>, и вѣаше то<sup>ѣ</sup> ѿрок  
овица двѣ имѣши дхъ неч<sup>ѣ</sup>тъ. И внигда нача<sup>т</sup> пѣти цркъвѣ вѣѣи, вниде въ  
ѿтроковицю вѣсѣ и дингнѣвъ ѿ, и нача<sup>т</sup> мѣчатис велики вѣсѣ<sup>а</sup>. Тогда же дхъ  
нечистын взои г<sup>ла</sup>: С<sup>ѡ</sup> Николае, иже повѣды имѣѣи на вѣсы, что мо<sup>ѣ</sup>чиши  
на<sup>ѣ</sup> слышавше лю<sup>а</sup>е г<sup>лю</sup>ще вѣсо<sup>ѣ</sup> ѿроковицю дивлях<sup>ѣ</sup>са г<sup>лю</sup>ще<sup>ѣ</sup> что е<sup>ѣ</sup> еже  
вѣщае<sup>ѣ</sup> вѣсѣ, кто е<sup>ѣ</sup> Николае, его<sup>ж</sup> молит<sup>ѣ</sup>? (л. 57)

В: Проше<sup>а</sup> Армению, поше<sup>а</sup> въ Инисоурьско<sup>ѣ</sup>у сторону<sup>ѣ</sup> и тамъ была цркъвѣ во  
има архистратига Муханла, въ цркви седѣ<sup>а</sup> .р. днѣвъ, а не могла<sup>ѣ</sup> е<sup>ѣ</sup> ни<sup>ѣ</sup>хто  
видети. И также са пригодило: в не<sup>а</sup>лю о<sup>ѣ</sup>вшаи вси люди въ цркъ<sup>ѣ</sup> помолитк  
исѣ, и была ѿдина дѣвка, имѣла в совѣ дхъ нечистын. Я какъ начали пѣти  
въ цркви, в тотъ ча<sup>ѣ</sup> вшо<sup>а</sup> вѣсѣ о<sup>ѣ</sup> дѣвкѣ и ро<sup>ѣ</sup>шилъ е<sup>ѣ</sup>ю, почала са вельми  
мѣчити. Тогда дхъ нечистын о<sup>ѣ</sup>сты е<sup>ѣ</sup> почалъ кричати и говорити, рк<sup>ѣ</sup>чи: С<sup>ѡ</sup>  
Николае, што силѣ имаш на вѣсы, почто мо<sup>ѣ</sup>чиши на<sup>ѣ</sup>. И о<sup>ѣ</sup>слышали говк  
орачи вѣса дѣвчинными о<sup>ѣ</sup>сты, почали са дивити, рк<sup>ѣ</sup>чи: што се говорить  
вѣсѣ, кого именѣ<sup>ѣ</sup>т (л. 102)

С: Оттоль пришоль до Апилии Сирской, где у свят(о)го архистратига  
Михаила церкви 100 днѣи забавил и жаден о нем не вѣдал. А одно-



го часу в день недѣльный, коли было въ оной церкви множество народу, бѣсноватая д(е)вица завершала, мовячи: “О Николае, шо моц маешь над бѣсы!” Слышачи то, народ дивовалься, шо за Николу бѣсь именуе (л. 167, цит. по: Пак 2001, 60)

D: Пошо<sup>а</sup> Арменію и поше<sup>а</sup> в Финсирскю сторону, и тамъ была црѣвь во има архистратига Михаила, въ которой то црѣвь сидѣлъ сто днѣи, а нихто его не могъ видѣти. Такъ же са пригодило: в неделю звонили вси людїе во црковъ матиса бѣчу, и была едина дѣвица, имѣла в себѣ дхъ нечистїи. И кди начали пѣти в црѣвѣ, в тои часъ вошолъ былъ злыи дхъ в дѣвицѣ и рѣшилъ нею, и почалъ ея варзо мѣчити. Тогда дхъ нечистїи оусты девци тоа почалъ кричати, мовачи: С! Николае, что силъ имаши на бѣси, почто мѣчиши нас. И оуслышавши людїе мовачого вѣса дѣвичиними оусты, почали са дивити, режѣчи: что се говоритъ вѣсь, што е<sup>с</sup> Николае, кого именуетъ вѣсь Николою? (л. 34–34 об.)

E: И приде во Ипанию Сирскю, в которо<sup>а</sup> была црѣковь во има стго архистратига Михаила, в то<sup>а</sup> цркви сидѣ<sup>а</sup> .р. днѣи, а никтоже его не могъ видѣти. И случиса в нѣлю стѣчу, и вси людїе вошли во црѣвь помолитиса, и вѣ с ними дѣвица, которая имѣла в себе дхъ нечисты<sup>а</sup>. И коли начали пѣти во цркви стрню, в то<sup>а</sup> ча<sup>а</sup> вош<sup>а</sup> вѣс в дѣвицѣ и рѣши<sup>а</sup> ею, и поч<sup>а</sup> мѣчити е<sup>а</sup> ве<sup>а</sup>ми и крича<sup>а</sup> мовачи усты дѣвичими. С! Николае, почто силъ имаши на бѣсы и мѣчиши на<sup>а</sup>? И слышала тое вси людїе мовачого вѣса усты дѣвичими, и чѣдшася глгоуцъ: что се мовитъ вѣсь, и кто есть Никола и кого именуетъ? (л. 30)

F: Пршедъ Арменю и пошелъ во Ипанию Сирскю, и тамо была црѣвь во има архистратига Михаила, оу тое цркви сиделъ .р. днѣи, а нихто его не могъ видети. Такъ же са пригодило: во стѣчу неделю и вошли вси людїе во црковъ помолитиса, и была една дѣвица, имѣла в себѣ дхъ нечѣтыи. И какъ начали пѣти во цркви, в тои часъ вошелъ в дѣцю и рѣшилъ ю, почала са великими мѣчити. И тогда дхъ нечѣтыи оусты ея началъ кричати: С! Никола, что силъ имаеши надъ бесы, что мѣчиши насъ. Оуслышала людїи говорачи вѣса дѣвичими оусты и почали дивитиса: что се говоритъ вѣсь, хто есть Никола, кого именуе<sup>а</sup>? (л. 34)

G: | прше<sup>а</sup> Арменію, ї поше<sup>а</sup> во Ипанию Сирскю, ї тамо црѣвь была во има архистратига вѣга Михаила. | в тои цркви вылъ сто днѣи, а не видѣлъ его никтоже. Таже въ днѣ нѣльны<sup>а</sup> вошли людїе въ црковъ на молитву во хра<sup>а</sup> стго Михаила. | пришла дѣвца дх<sup>а</sup> нечисты<sup>а</sup> одержима, ї начаша людїе пѣти<sup>а</sup> во цркви, ї в тои часъ вниде вѣс въ дѣвицѣ, ї нача мѣчити и вѣти ея. Таже дхъ нечистыи нача оусты дѣвцы тоа кричати, гла: Николае, что силъ имаши на бѣсы, чемъ на<sup>а</sup> мѣчиши? | оуслышаша людїе вѣса глаца оусты дѣвицы тоа,

и начаі дивитиса, что глѣт вѣсь, кто естъ Николае, ꙗкого ѿменѣтъ? (л. 103 об., цит. по: Крутова 1997, 102)

Н: И пршедѣ Ярменію стын Николае, и понде во Амполонію Сирскѣю, ꙗ тамо вѣ цркви во имя архистратига Михаила. | в тон цркви пребывает стын Николае сто днѣи, и не видѣ его никтоже. По сих же въ днѣ недѣльными придоша людіе мнози въ цркви на мѣствѣ во хра<sup>м</sup> стѣаго архистратига Михаила, и приде тѣ въ цркви дѣвица дѣхомъ нечистымъ одержима. И начаша людіе пѣти во цркви, в тон часѣ вшелъ вѣс в тѣ дѣвицѣ, ꙗ нача мѣчити и бити еѣ. Таже нечистын дѣхъ нача оусты томъ дѣвицы кричати, глагола: Ѿ Николае, что силѣ имаша на вѣсы, почто мѣчиши ны? | оуслышаша людіе вѣса глаголюща оусты томъ дѣвица, и начаша дивитиса, что вѣсѣ глаголетъ, кто естъ Николае, ꙗкого ѿменѣтъ и гдѣ естъ? (л. 67 об., цит. по: Крутова 1997, 41)

Сопоставляя варианты А и В, можно составить представление о характере языковых изменений, которым текст «Повести о погребении» подвергся в оригинале НЖН (далее условно отождествляемом со списком памятника в Четье 1489 г. как наиболее близким к нему). Безусловно, прав был В. Н. Перетц, видевший в текстах Четьи 1489 г. переводы с церковнославянского (для сравнения: П. Владимиров (1888, 27) находил в этом памятнике лишь «много народных слов, введенных в текст церковнославянских житий и поучений»). Говорить о переводе позволяет последовательная переработка текста на всех языковых уровнях, решительный отказ от основ церковнославянской грамматики: простых претеритов, согласованных причастий и основанных на них синтаксических конструкций, специфического набора подчинительных союзов, лексических и синтаксических грецизмов, в избылии присутствовавших в оригинале. На этом фоне и такие признаки, как использование почти исключительно полногласной лексики, восточнославянских рефлексов сочетаний с *j*, окончания *-ого* в Р. ед. членных прилагательных и др., могут рассматриваться как индикаторы стремления писать на особом, противопоставленном церковнославянскому «простом» языке.

Проводя эту установку, переводчик в то же время избегал слишком откровенного сближения с живой диалектной речью. Как нормализующий фактор, подчеркивающий нетождественность его «простого» языка разговорному, он сохраняет отдельные церковнославянские флексии (один раз встретившееся в приведенном фрагменте *-ши* во 2-м л. презенса не очень показательно — это едва ли не единственный пример на весь текст; в то же время в им.-вин. мн. членных прилагательных нормативны церковнославянские флексии *-ии*, *-ыя*, *-ая*, тогда как русское *-ые* встречается крайне редко). Вряд ли живыми в диалекте переводчика были и *л*-формы со связкой, которыми он регулярно заменяет аористы 1-го и 2-го л. (*вниде* → *вшель еси*; *придостѣ* → *пришли есте*). Свободно заменяя церковнославян-

ские лексемы их общерусскими соответствиями, переводчик в то же время очень скупо использовал диалектно окрашенную лексику. Общерусский элемент заметно преобладает над диалектным и в синтаксисе, носящем в основном нейтральный характер. Наконец, обращает на себя внимание практически полное отсутствие полонизмов.

Эти и другие особенности, характеризующие оригинал НЖН как одну из первых проб «простого» языка Литовской Руси, определяют и перспективу дальнейшей лингвистической натурализации текста, которую в разной степени отражают варианты С, D, E. Эта натурализация идет бок о бок с полонизацией. Обе тенденции достигают максимума в С, где мы застаем уже «просту мову» периода ее недолгого расцвета. Это не случайно: фрагменты НЖН выступают здесь в составе второй редакции Югозападнорусского жития, представляющего на более продвинутом этапе ту литературно-языковую традицию, начало которой было положено памятниками типа Четьи 1489 г. и ее протографа.

Иной характер имеют списки D и E, в которых конвой НЖН образуют церковнославянские житийные и гомилетические тексты. Полонизмов в этих списках намного меньше, а тенденция к дальнейшему упрощению языка сочетается с введением в текст новых по сравнению с А церковнославянских элементов. В D таких замен относительно немного (*шдина дѣвка* → *ѣдина дѣвица*, *оусты еѣ* → *оусты девици тоа*), и они не влияют на общее восприятие языка как «простого»; между тем в E славянизация составляет одну из тенденций языкового редактирования текста, парадоксальным образом уживающуюся со столь же сознательным сближением с разговорным языком. Так, введение в текст двух придаточных определительных с *который* сочетается с активным использованием аориста; в последней фразе *рекучи правится на глаголюще*, и здесь же *говорит* — на *мовит*. Очевидно, церковнославянский и «проста мова» присутствовали в сознании переписчика-редактора как равно возможные для такого текста языковые оболочки, и, не решаясь выбрать между ними, он обрабатывал свой оригинал, лингвистически «смещая» его то в одном, то в другом направлении.

Совсем иную картину представляют списки памятника, созданные в Московской Руси. Тенденция к славянизации, окнижнению языка является здесь единственной, и отдельные списки отличаются друг от друга лишь последовательностью ее проведения. Еще не столкнувшееся с проблемой «простоты» языка лингвистическое сознание Московской Руси не в состоянии было оценить принципиальной языковой новизны югозападнорусского переложения «Повести о погребении». Язык этого переложения вряд ли мог быть воспринят московскими книжниками иначе, как очень плохой церковнославянский. Формально такое восприятие делало возможным наличие в тексте ряда церковнославянских элементов, а также таких черт, которые, будучи в Юго-Западной Руси принадлежностью живой восточнославянской речи, в великорусской языковой ситуации составляли приметы

исключительно книжного языка (например, рефлексы второй палатализации в склонении и спряжении или некоторые формы вокатива). Этого, однако, было слишком мало, чтобы обеспечить необходимый для агнографического текста «уровень книжности», и московские книжники принялись, в меру своих вкусов и возможностей, этот уровень повышать. «Белая ворона» в церковнославянской литературе Московской Руси, НЖН необычностью своего языка провоцировало переписчиков на активное проявление их языковой позиции, превращая каждого переписчика в справщика и в каждом новом списке приобретая неповторимый языковой облик.

Разнообразие языковых установок великорусских переписчиков НЖН можно наблюдать, сопоставляя фрагменты F, G, H. В списке F окниженные языка носит самый ограниченный и поверхностный характер, заключааясь в основном в устранении черт некнижной орфографии (*пошоль* → *пошеть*, *што* → *что*, *увошли* → *вошли*), элементарных морфологических заменах (*люди* → *людие*, *собѣ* → *себѣ*, *еє* → *еа*), замене просторечного *дѣвка* на *дѣвица*). Особо отметим гибридную словоформу *имаєши*, которую переписчик получает из *имаети* путем замены флексии *-шь* на книжное *-ши*, не обращая внимания на диалектную основу. В то же время важнейшие грамматические характеристики оригинала НЖН, противопоставляющие его «Повести о погребении» как перевод с церковнославянского, практически не затронуты правкой. Это относится прежде всего к системе прошедших времен: как и в Четье 1489 г., изложение в F ведется почти исключительно в бессвязочных *л*-формах. Но если для югозападнорусского переводчика эти формы, которыми он последовательно заменял аорист и имперфект, были функционально нагружены, здесь они лишь пассивно воспроизводятся — активную же установку писца отражает, пусть и поверхностная, славянизация языка.

Значительно большие языковые амбиции и существенно лучшее знание церковнославянской грамматики обнаруживает писец G. Он не только заменяет *л*-формы аористами почти в половине случаев, но и вводит в текст причастные конструкции (*дѣхѡмъ нечистымъ одержима, оуслышаша людїе вѣса гл҃ца*), насыщает его специфически книжными (для этого времени) формами местоимений и союзов (*никто* → *никтоже*, *что* → *чему*, *тогда* → *таже*), заменяет диалектное *имаети* на правильное церковнославянское *имашн*. Имеются и замены риторического характера (*в неаю* → *въ днь нѣльнь*, *въ цр҃кѡ помолитисѧ* → *на молитвѣ во храмѣ ст҃го Михаила*).

Наибольший размах вторичная славянизация имеет в H, что естественно: в составе предназначавшегося для печати Компилятивного жития св. Николая фрагменты «некнижной» редакции подверглись особенно интенсивной языковой редактуре. В этом нетрудно заметить параллель с наиболее последовательной натурализацией и полонизацией языка НЖН в составе Югозападнорусского жития (C). Источником H послужил список типа G, в котором «некнижный» характер текста уже был в значитель-

ной степени преодолен. Составитель Компилятивного жития пошел еще дальше, заменив аористами почти все *л*-формы (за одним, возможно, неслучайным исключением: *вшесть вѣс в тѣ дѣвицѣ*) и продолжив риторическое направление редактирования: (*пришла дѣвица* → *пріиде тѣ въ цркви дѣвица*, *вошли людіе* → *пріидоша людіе мнози*). Цель редактора была достигнута: восходящие к НЖН фрагменты Компилятивного жития практически сливаются в языковом отношении с остальным текстом и распознать их «некнижное» происхождение можно лишь при ближайшем рассмотрении.

И все же, как бы далеко ни заходили московские книжники в славянизации языка «некнижного» жития, результатом их усилий не могло стать возвращение к первоначальному языковому облику «Повести о погребении». Грамматический каркас южнославянского перевода, во многом «списанный» с греческого оригинала, был, как уже говорилось, самым решительным образом сломан югозападнорусским переводчиком, уступив в оригинале НЖН место совсем иному построению текста, ориентированному на разговорную речь. Этот разговорный или, точнее, квазиразговорный субстрат присутствует во всех великорусских списках памятника, несмотря на все старания переписчиков сделать язык более книжным. Покажем это на нескольких примерах.

Реакция людей на странную речь беса в «Повести о погребении» в соответствии с греческим оригиналом передана формой имперфекта *дивлахѣса*, имеющей в данном контексте значение начала действия. Югозападнорусский переводчик тонко уловил этот оттенок значения, передав его сочетанием *почали са дивити*. В процессе вторичной славянизации это сочетание закономерно изменяется в *начали дивитиса* (F) и *начаша дивитиса* (H), но «прямого попадания» в формоупотребление «Повести» не происходит. Обращение беса к св. Николаю сформулировано в «Повести о погребении» с использованием причастного оборота: *СѦ Николае, иже повѣды имѣлаи на вѣсы*, который в НЖН уступает место личной конструкции: *СѦ Николае, што силѣ имаш на вѣсы*. Отдельные составляющие ее элементы в дальнейшем славянизируются (*што* → *что*, *имаш* → *имаша*), но причастие уже не восстанавливается<sup>6</sup>.

Еще один пример, уже из области лексической семантики. Слово *церковь* во фразе *всегда нача<sup>7</sup> пѣти цркви вѣи* употреблено в «Повести о погребении» как обозначение сообщества верующих, воспроизводя семантику греч. *ekklesia*. В «простом» языке НЖН *церковь* — уже только ‘церковное здание’: *Я какъ начала пѣти въ цркви*. Это значение сохраняет и вторично славянизированный вариант фразы (*И начаша людіе пѣти во цркви*).

<sup>6</sup> Насколько эти примеры отражают общее положение дел, видно из следующих цифр. В исходном тексте фрагмента соотношение форм аориста и имперфекта 5:5, а общее соотношение личных и причастных форм — 14:9. В наиболее славянизированном списке Н те же соотношения принимают вид 10:0 и 18:4.

Итак, в отличие от перевода с церковнославянского на «простой» язык, кардинально преобразующего весь языковой строй текста, вторичная славянизация языка НЖН осуществляется путем элементарного «пересчета» отдельных некнижных элементов в книжные, реально демонстрируя тот механизм порождения литературного текста, который В. М. Живов (1996, 32) считает конституирующим «гибридный» регистр церковнославянского языка. Превратности судьбы нашего памятника, однажды оторвавшегося от церковнославянской книжной традиции, а затем вновь воспринятого ею, но уже в новом языковом обличье, дают весьма редкую возможность сопоставления сразу нескольких вариантов одного и того же текста, различающихся своим языковым статусом: переводной южнославянской «Повести о погребении» (канонический церковнославянский), ее перевода в Четье 1489 г. («простой» язык Литовской Руси) и великорусских переделок этого перевода (гибридный церковнославянский Московской Руси).

Само же существование этих вариантов как нельзя лучше отражает принципиальное несходство языковых ситуаций Юго-Западной и Московской Руси в XV–XVII вв. Появление протографа Четьи 1489 г. и в ее составе — «некнижной» редакции жития св. Николая Мирликийского является одним из первых, если не самым первым сигналом изменения языковой ситуации в Великом княжестве Литовском. Столь же показательна и реакция великорусских книжников на этот ранний опыт «простого» языка Литовской Руси, их настойчивые усилия вернуть «взбунтовавшийся» текст в лоно церковнославянского языка — яркое свидетельство традиционализма языкового мышления Руси Московской.

### Сокращения

- ЛНБ — Львовская научная библиотека.  
РГАДА — Российский государственный архив древних актов.  
РГБ — Российская государственная библиотека.  
РНБ — Российская национальная библиотека.  
ЦНБУ — Центральная научная библиотека Украины.

### Литература

- Владимиров 1887 — *Владимиров П. П.* Житие св. Алексея человека Божия в западнорусском переводе конца XV в. // ЖМНП, 1887, октябрь. С. 250–267.  
Дмитриев 1958 — Повести о житии Михаила Клопского. Подготовка текстов и статья Л. А. Дмитриева. М.-Л., 1958.  
Дмитриева 1988 — *Дмитриева Р. П.* Житие Зосимы и Савватия Соловецких // Вып. 2 (вторая половина XIV — XVI в.). Часть I. А–К. Л., 1988. С. 264–267.  
Живов 1996 — *Живов В. М.* Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.  
Ключевский 1871 — *Ключевский В. О.* Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.

- Кругова 1997 — *Кругова М. С.* Святитель Николай Чудотворец в древнерусской письменности. М., 1997.
- Лебедев 1916 — *Лебедев А.* Рукописи церковно-археологического музея Киевской Духовной Академии. Саратов, 1916.
- Лопарев 1892 — *Хр. Лопарев.* Описание рукописей общества любителей древней письменности. Т. 1. СПб., 1892.
- Никольский 1906 — *Никольский Н. К.* Материалы для повременного списка русских писателей и их сочинений (X–XI вв.). Корректированное издание. СПб., 1906.
- Пак 2000 — *Пак Н. В.* Житийные памятники о Николае Мирликийском в русской книжности XI–XVII вв. Автореферат дисс. канд. филол. наук. СПб., 2000.
- Пак 2001 — *Пак Н. В.* Проблема древнерусских редакций жития св. Николая Мирликийского // Образ св. Николая Чудотворца в культуре Древней Руси. Материалы научной конференции 22 мая 2000 г. СПб, 2001. С. 33–99.
- Орлов 1909 — *Орлов А. С.* Русское «некнижное» житие Николая Чудотворца // Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому. М., 1909. С. 347–358.
- Перетц 1928 — *Перетц В. Н.* Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII вв. I. // Сборник по русскому языку и словесности. I, 1. Л., 1928.
- Перетц 1929 — *Перетц В. Н.* Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII вв. III. // Сборник по русскому языку и словесности. I, 3. Л., 1929.
- Потанов 1922 — *Потанов П. О.* К литературной истории рукописных сказаний о св. Николае Чудотворце // Ученые записки Высшей школы г. Одессы. Отдел гуманитар.-обществ. наук. Одесса, 1922. Т. 2. С. 121–129.
- Соболевский 1980 — *Соболевский А. И.* История русского литературного языка. М., 1980.
- Успенский 1987/2002 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI–XVII вв.). М., 2002.
- Успенский 1994 — *Успенский Б. А.* Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.
- Флоровский 1947 — *Флоровский А. В.* Чехи и восточные славяне. Очерки по истории чешско-русских отношений (X–XVIII вв.). Т. 2. Прага, 1947.
- Целунова 2000 — *Целунова Е. А.* Культурная и языковая ситуация Великого княжества Литовского // *Annali dell' Istituto universitario orientale di Napoli: Slavistica*, V (1997–1998). Napoli, 2000.
- Anrich 1913 — *Anrich G.* Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaos in der griechischen Kirche: Texte und Untersuchungen, Bd. 1. Leipzig; Berlin, 1913.